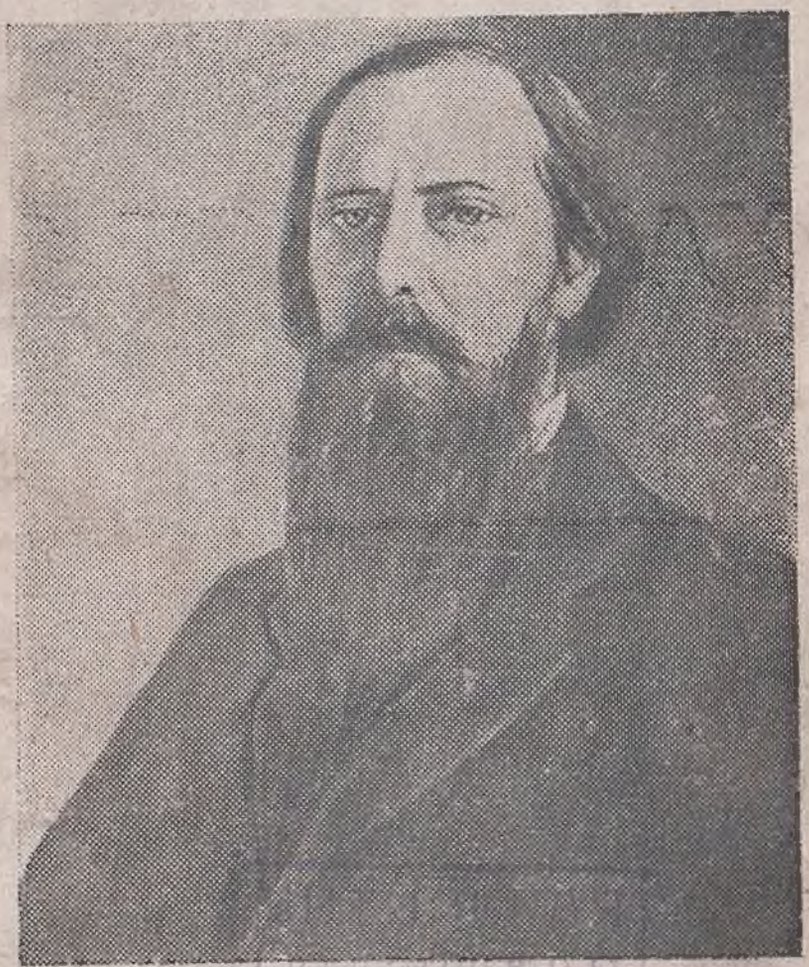
А
С16

Н. ЩЕДРИН (М. Е. САЛТЫКОВ)

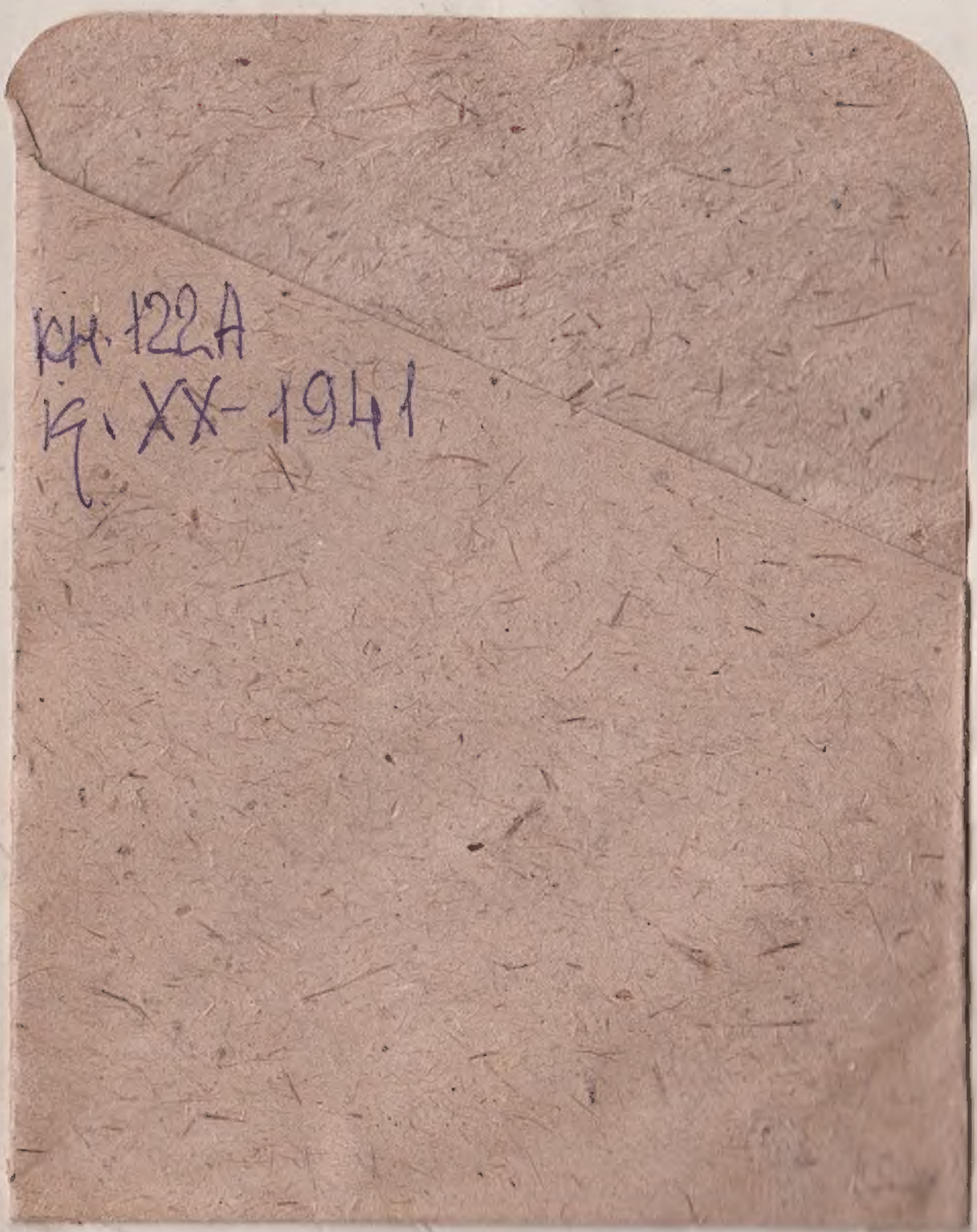
# О ПРУССАКАХ И ПРУССАЧЕСТВЕ



ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"
№ 54
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА"
МОСКВА — 1941

ФРЦ 151637


Кн. 122А
К. XX- 1941

А
С16

Н. ЩЕДРИН (М. Е. САЛТЫКОВ)

1944

# О ПРУССАКАХ И ПРУССАЧЕСТВЕ

157697

1955

Книгохранилище

1950

Издательство „Правда"
Москва — 1941

А
С-16
1966

## СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|---|
| Щедрин и пруссачество (Вступительная статья) . . . . . | 3 |
| Тени города Глупова . . . . . | 10 |
| Предтечи кровавого фашизма . . . . . | 58 |

Фонд редких книг
2233
2012
ФРК 151637

Отв. редактор Е. ПЕТРОВ

Издательство „Правда" Изд. № 1286

Б25179 Зак. тип. 2929 Тир. 150.000

Статтор А 105×148 мм 2 п. л. Кол. зн. в 1 п. л. 43.200

Цена 30 коп. Подп. к печ. 12/XII 1941 г.

Типография „Красное знамя", Москва, Сущевская ул., д. 21.

# ЩЕДРИН И ПРУССАЧЕСТВО

**«Кругом—пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...»**

***Щедрин***

Гениальный сатирик земли русской Салтыков-Щедрин был пламенным патриотом своей родины.

Отметая клевету злобствовавших борзописцев, жандармов и либеральных ханжей, Щедрин писал:

«Я знаю, что есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают... значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это — самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом виноват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России... Я желал бы видеть мое отечество... счастливым».

Любовь к родине, лютая ненависть к произволу, палачеству, рабству, вера в грядущее счастье народа рождали бессмертные шедевры щедринской сатирической кисти.

Нетленные страницы, написанные гневной рукой непоколебимого борца, обрели сейчас новую жизнь. Будто по мановению волшебного жезла читатель переносится из исконных «расейских» глуповских эпопей в наши дни — вместо глуповских осин перед ним липы берлинского Унтер ден Линден. И так велико могущество художественного обобщения и исторического предвиденья щедринской сатиры, что за блеклой тенью истинно-русского Глупова и бисмарковской Пруссии перед нами встает во всех своих отвратительных очертаниях и гнусных подробностях, во всем своем тлетворном зловонии, сегодняшняя, гитлеровская угрюмбурчеевская Германия — фашистский ад мракобесия и человеконенавистничества.

Разве приснопамятный градоначальник Перехват-Залихватский, который «въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки», или идиотический прохвост Угрюм-Бурчеев—не сатирические предтечи фашистского «фюрера» и всей его своры кровавых псов?!

Щедрин не выносил алчности, хищности, скупости, цинизма, наглости немецкого буржуа, лавочника, бюргера. Он слишком хорошо знал историю своей отчизны — знал, как пагубно было влияние пруссачества, немецких дворцовых интриг на судьбы страны. Личные впечатления писателя еще более укрепляли его в неприязни к немцу-эксплоататору, насильнику —

угнетателю русского человека. Несомненно, свои мысли вложил Щедрин в уста знаменитого русского «мальчика без штанов», когда тот обратился со страстной филиппикой к немецкому «мальчику в штанах»:

«...к нам-то вы приходите... только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? — немец!.. зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде».

Попав заграницу — в «благорастворенные заграничные места», — Щедрин, гениальный писатель и культурнейший человек своего времени, не увидел в опруссаченной Германии никакого просвета. Она предстала перед ним как ненавистное гнездо беснующейся, торжествующей реакции. Это было после франко-прусской войны — после того, как бисмарковский кованый сапог наступил на горло Франции, разгромленной, утопавшей в крови великого Парижа, преданного Лавалями тех дней.

Энгельс писал, что «Германская империя прусской нации» является «истинной представительницей милитаризма».

Такой ее увидел и Щедрин и показал в величайшем своем произведении — «За рубежом». Его привел в

негодование зоологический национализм германской воинствующей буржуазии, наглость остервенелого завоевателя, мечтающего скрутить в бараний рог все прочие народы.

Каждый город имеет свое неповторимое обличье, свою душу, свой пафос. Пафос Берлина олицетворялся фельдфебелем. Этот казарменный город поверг Щедрина в тоску.

«Трудно представить себе, — писал он, — что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно, нет... но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда!»

Это не только впечатления иностранца. Щедрин понимал, что «для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил...

...вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: *Главный штаб...»*

Главный штаб, где в зловещей тайне готовятся грабительские войны за господство над миром!

В немецком офицере Щедрин видел Держиморду — не воина, а разбойника, угнетателя, стяжателя, аморального субъекта:

«...самый гнетущий элемент берлинской уличной

жизни — это военный... делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер... грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупичатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что́ не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков...

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь».

К такой же карьере держиморды фельдфебеля, палача уже тогда готовили в Германии «мальчиков в штанах». В другом своем произведении — в «Благонамеренных речах» — Щедрин приводит тоскливые пересуды «средних немцев»:

«— У нас нынче в школах только завоеваниям учат. Молодые люди о полезных занятиях и думать не хотят; всё — «Wacht am «Rein» да «Krigers Morgenlied» распевают! Что из этого будет — один бог знает! — рассказывает третий немец.

— Все наши соки Берлин сосет...», — убитым голосом поддержал его приятель.

Все соки высосал вильгельмовский Берлин из немецкого народа в войне 1914—1918 годов, и теперь все соки высасывает из него гитлеровский Берлин — фашистское чудовище, чума народов.

Недаром писал Щедрин, что «Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубивства». На человечество надвигалась черная сила озверелого пруссачества.

«...смотрите, как твердо он ступает по негодяйской стезе и какими неизреченно-бесстыжими глазами взи-

рает на всё живущее... Ограниченность мысли породила в нем наглость... Везде он является с открытым лицом, везде возвещает о себе: Вы меня знаете? — Я негодяй! Я — ярмо, призванное раздавить жизнь! Я — позор, призванный упразднить убеждение, честность, правду, самоотвержение. Я — распутство, поставившее себе задачей наполнить вселенную гноем измены, подкупа, вероломства, предательства!..»

Для Щедрина германский вооруженный до зубов солдат был символом тирании, садистического безумия. «...Он прошел с мечом и огнем половину цивилизованного мира, — заметил Щедрин. — а остался все тем же скорбным главою берлинцем».

В казармах и притонах солдафоны «шумели, пили водку, потирали руки, проектировали меры по части упразднения человеческого рода... проклинали совесть, правду, честь, проливали веселые крокодиловы слезы... случилось что-нибудь ужасное — ишь ведь как гады закопошились! Быть может, осуществился какой-нибудь новый акт противочеловеческого изуверства...»

Мы легко узнаем здесь достойных прадедов нынешней гитлеровской банды. И как поразительно применимы к фашистам-людоедам негодующие слова Щедрина:

«...Мертвыми дланями стучат в мертвые перси, суконным языком выкликают: «Звон победы раздавайся» и зияющими впадинами вместо глаз выглядывают: кто не стучит с ними? ...это люди злые, мстительные, снабженные вонючим самолюбием и злой памятью... это совершенные исчадия сатаны: они настроят костров и будут бессмысленными глазами следить за муками жертвы».

Страшное пре́двиденье оправдалось...

«...было время, — писал Щедрин, — такой громадной душевной боли, когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда!»

Будто о нем, о кровавом шуте, восседающем на фашистском троне, пророчески предостерегал Щедрин:

«...с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...»

В черную годину всевластья авантюриста, кровавая его тризна, по словам Щедрина, не дает «человечеству ни развиваться, ни совершать плодотворных дел, а следовательно, и в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв...»

Но перерыв этот недолговечен. Щедрин отлично понимал, что люди, в ужасе толкующие о «могуществе Германии, о той неувядаемой славе которою покрыло себя немецкое оружие», эти жалкие люди «представляют себе только казовый конец современной... германской действительности».

А то, что происходит не на поверхности явлений, а в глубинных сферах исторического развития, неотвратимо ведет реакционнейшее пруссачество, выродившееся ныне в фашистскую чуму, к позорной гибели.

Фашизм будет сметен ураганом всенародной ненависти. И благодарное человечество никогда не забудет, что великий и родной нам Щедрин беспощадно травил смертоносным оружием сатиры предшественницу гитлеризма — торжествующую свинью прусского империализма, уже тогда хрюкавшую о завоевании вселенной.

*В. Хандрос*

# ТЕНИ ГОРОДА ГЛУПОВА

„И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:
— Запорю!
С этим словом начались исторические времена".

*Щедрин.*

## ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ...[1]

1) *Клементий,* Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) *Ферапонтов,* Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками...

5) *Ламврокакис,* беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кириллою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим

[1] Глава из «Истории одного города».

мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) *Баклан,* Иван Матвеич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков, и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана-великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) *Пфейфер,* Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество...

12) *Бородавкин,* Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, при чем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною... Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) *Негодяев,* Онуфрий Иванович, бывший гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы, и из добытого камня настроил монументов...

16) *Прыщ,* майор Иван Пантелеич. Оказался с фарфированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) *Иванов,* статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ...

21) *Угрюм-Бурчеев,* бывший прохвост. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

22) *Перехват-Залихватский*, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

«...ЗАПОРЮ!.. НЕ ПОТЕРПЛЮ!.. РАЗОРЮ!..»

«...новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков...

...По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «не потерплю!» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города: частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на-лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит, и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «не потерплю!»...

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он... сверкнул на толпу глазами.

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли».

(«История одного города»)

# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ[1]

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинк-

---

[1] Глава из «Истории одного города».

ту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутенами; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что́ напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-на-просто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот един-

ственное слово, которым он выражал движения своей души.

Во́-время посторониться — вот все, что́ было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, — им сто́ило только встать несколько в стороне, и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество больных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что́ послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, — и трепетные губы их шептали: сатана!

Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к списанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время, — так начинает он свое повествование, — в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоя-

щим на верхней ступени адского трона, с повелительно-простертою вперед рукою и с мутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь напрягтое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест, — и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что́ весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа, и хотя далее следует перерыв, и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь не даром.

В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в

прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные (подстриженною щетиной) усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, повидимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

157637

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как-будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж, это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это

Общественная библиотека

просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не всё опрокидывали, что встречается им на путь. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?

Вот это-то утвержденное и вполне успокоившееся

в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир, и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты, и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгла-

сы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («при чем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.

— Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник: — а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует!

Мало-по-малу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он

решился испытать своих подчиненных и кликнул клич:

— Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он: — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены, и знали, что порубление пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали: «рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»

— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание, или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

— Сви...

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост, и велиим голосом возопил:

— Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг толь-

ко ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

— Ты меня возлюбил, — воскликнул он: — а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глупов...

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов... Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и при том с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и

кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью — а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове, и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, — всё без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок, и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, всё шли, всё шли...

Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине — площадь, от которой радиусом разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно

но называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то-есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, при чем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каж-

дом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, — размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука чисел преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником Неуклонности», и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником Предержащих Властей», и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица*, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод в свою очередь имеет командира и шпиона; пять взводов со-

ставляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город,* который из Глупова переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича» город *Непреклонск.* Над городом парит окруженный облаком градоначальник, или иначе сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи, выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под

предводительством командиров, по-взводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем, и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый по́том, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

**Раз — первой! раз — другой!**

— а за ним все работающие подхватывают:

**Ухнем!**
**Дубинушка, ухнем!**

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «шабаш!» Опять по-взводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате, всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон.

Ни бога, ни идолов — ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба — вот сущность этой кантонистской фантазии...

Тем не менее, когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что́ скрывает она?

— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-рмы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

* * *

...Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.

Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти, куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На другой же день по приезде, он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин —

ничто не останавливало его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес, и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.

Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Извилистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.

— Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили, «хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.

— Зачем? — спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

— Река-с... навоз-с... — лепетали они как попало.

— Зачем? — повторил он испуганно, и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

— Уйму́! я ее уйму́!

До́ма он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что сто́ит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства, наверное,

возникнет материк, а затем попрежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.

Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.

В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:

— Зачем?

И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как одеревенелые, застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.

Город притих; в воздухе чувствовались спертость и духота.

*Он* еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец*. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого, прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте,

и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? — вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому, при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании...

Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, не зачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались: вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда: ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, подумали-было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга; но он даже не понял их.

— Зачем? — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.

В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.

Наконец, страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.

За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало-быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро, для принятия этого решительного, потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет проведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы — одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «оказательство».

— Кто его знает, какой он веры? — шептались промеж себя глуповцы: — может, и фармазон?

А *он* все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.

В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое

имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот увидят начальники нашу невинность и простят...

Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.

«30-го июня, — повествует летописец: — на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла, был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были палицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетные и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на вы-

в бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: ломай! Но ведь тогда все-таки была война, а теперь... без всякого повода... среди глубокого земского мира...

Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальстволюбия, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все на чеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии; остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста, и уносила его далеко, далеко.

В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, что зрелище приводило его в недоумение.

— Зачем? — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.

Что́ именно?

Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. Попрежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; попрежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую, в весеннее время, водой. Бред продолжался.

Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностию бормотал:

— Уйму́! я ее уйму́!

И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение, и ясным голосом произнес:

— От сих мест — до сих!

Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела

извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.

— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышащуюся толпу.

Борьба с природой восприяла начало.

Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми, и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.

Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьёзно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам, и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев, с удивлением, доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.

Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:

— Гони!

Появились новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно парастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец, привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако, предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.

— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.

Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия.

Но тут встретилось новое загруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся как на каменную гору. Река задумалась, забуровило дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.

К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще

прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он, все-таки, не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов: — гони!

Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности, и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...

То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва уви-

дел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шницрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты: во-первых, разумеется военный, потом торговый. Военный флот то-и-дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.

И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.

Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.

Некоторое время Угрюм Бурчеев безмолствовал. С

каким-то страшным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает...

Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.

— Напра-во круг-гом! за мной! — раздалась команда.

Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!

Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред, точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове.

— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.

Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под

довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю...

Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием: «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.

Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальниках»), когда, в течение семи дней, шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, *он*, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, при чем так искусно замегал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом — войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Лупьку-толстопятую и Матрёшку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Амальки, Нельки и прочих

время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.

Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер — никто ничего не знал об интригах Козыря, так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революций гражданин».

Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал их дважды в год.

Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка, — говорилось в том указе, — не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но, при довольном употреблении, даже отклоняет от оного и порождает страсть к убийству. Пива же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А пото-

му советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпускается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, в скорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть.

Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал; да мало они поняли».

В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, при-

звал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь:

— Правда ли, — говорил он: — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкою величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?

Козырь замялся.

— И на то у меня свидетели есть, — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что́ говорит.

Козырь побледнел.

— И я тот твой бездельный поступок, по благодушию своему, прощаю! — вновь начал Фердыщенко: — а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись богу.

И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век, и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедывать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в царствие небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. При чем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:

— Вот и ты, чортов угодник, в аду с братцем своим сатаной каленными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду!

Таков был первый глуповский демагог.

Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга, «О водворении на земле добродетели», была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность — вот

идеалы, которые он проповедывал, ничего не зная о способах их осуществления.

Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.

— Чёл я твою, Ионкину, книгу, — сказал он: — и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзенье.

Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:

— Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от бога, и от бога же всякому человеку пристойное место указано.

Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.

— Ежели есть на свеге клеветники, тати, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется), — продолжал градоначальник: — то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?

Ионка разинул-было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:

— Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и

плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему́, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?

Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.

— Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудил тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.

Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма.

Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью *бабник и прелюбодей*. В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что́ и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.

Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения

этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало». «И сидя на цепи, Ивашка умре», прибавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом, тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын, Алешка Беспятов, за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; Дю-Шарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов, в первую половину своего градоначальствования, не только не препятствовал, но даже покровительствовал либера-

низму, потому что сменивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Анисьюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало, в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты — все помрем и все к чортовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть-было не попались впросак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но во́-время спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.

Восхищение начальством! что́ значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным *не*восхищения! А отсюда до революции — один шаг.

Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи выше меры обременены телесными упражнениями, — говорит [illegible] с устатку, ни

о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...

Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник, в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник «предержащих властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям, вместо работ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «шабаш!» — как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, после долгого перерыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен

сквернословием, и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо откуль и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...

А он, между тем, неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более.

Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его, исполненный бесстыжества, взор, делалось ясным, что это «громадное», это «всепокоряющее» — не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.

Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинствен-

ный смысл выражения «лучший сыч» стал настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастие! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!

А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не вооочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго

зревшая в его заскорузлой голове, наконец, осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса...

Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы, все-таки, обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце-концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев.

И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как, с наступлением сумерек, какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как, с рассветом дня, те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удер-

живал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.

И вот, однажды, появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...

Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.

«Через неделю (после чего?), — пишет летописец, — глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало бег свой. Наконец, земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

«*Оно* пришло...

«В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

«— Придет...

«Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

«История прекратила течение свое».

---

# ПРЕДТЕЧИ КРОВАВОГО ФАШИЗМА

**«...Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства».**

*Щедрин*

## «...ВАС ВЕЗДЕ НЕНАВИДЯТ...»

«*Мальчик без штанов:* ...Давай-ка лучше об немцах говорить... к нам-то вы приходите... только чтоб накостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! Кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? — немец! И заметь, что, сравнительно, ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство — тоже, а ваши учреждения — и подáвно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении

должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха».

(«За рубежом»).

* * *

«Уже подъезжая к Берлину, иностранец чувствует, что на него пахну́ло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума. И так как ни то, ни другое, ни третье не заключают в себе ничего привлекательного, то путник спешит в первую попавшуюся гостиницу, чтоб почиститься и выспаться, и затем нимало не медля едет дальше.

Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно, нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда!»

(«За рубежом»).

## «...РАЗВОДЫ, ПАРАДЫ И МАНЕВРЫ»

«Берлин, как столица Прусского королевства, был для всех понятен. Он скромно стоял в главе скромного государства и, находясь почти в центре его, был очень удобен в качестве административного распоря-

дителя. Несколько скучный, как бы страдающий головной болью, он привлекал очень немного иностранцев, и ежели, тем не менее, из всех сил бился походить на прочие столицы, с точки зрения монументов и дворцов, то делал это pro domo[1], чтоб верные подданные прусской короны имели повод гордиться, что и их короли не отказывают себе в монументах. Милитаристские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно, Прусское королевство находилось под угрозой распадения, но всякий раз на помощь ему являлась дружественная рука, которая на бессрочное время обеспечивала за ним возможность делать разводы, парады и маневры...»

(«За рубежом»)

## «...ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ВСЕЛЕНСКОЕ ГОСПОДСТВО...»

...«Но лучшее право старого Берлина на общие симпатии, во всяком случае, заключалось в том, что никто его не боялся, никто не завидовал и ни в чем не подозревал, так что даже Москва-река ничего не имела против существования речки Шпрее.

В настоящее время от всех этих симпатичных качеств осталось за Берлином одно, наименее симпатичное: головная боль, которая и доныне свинцовой ту-

[1] Для себя.

чей продолжает парить над городом. Все прочее радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость — ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство...»

(«За рубежом»).

## «...СУТЬ СОВРЕМЕННОГО БЕРЛИНА...»

«Я не имею никаких данных утверждать, что Берлин *никогда* не сделается действительным руководителем германской умственной жизни, но, судя по современному настроению умов, думаю, что *в настоящее время* для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил. И вдобавок, везде насовал берлинского солдата с соответствующим количеством берлинских же офицеров. Какое, спрашивается, имел он право смущать сон добродушных баденцев вечно присущим представлением о выпяченных грудях и вытаращенных глазах? И была ли в том надобность?

Одним словом, вопрос, для чего нужен Берлин? — оказывается вовсе не столь праздным, как это может представиться с первого взгляда. Да и ответ на него не особенно затруднителен, так как вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: *Главный штаб...*»

(«За рубежом»).

## «...ДЕРЖИМОРДА ИМЕННО БЫЛ БЫ ТАКОВ...»

«...Самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли прусских офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудаком, в форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупичатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что́ не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков, если б не заел его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь... он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я герой! Мне кажется, что если б, вместо того, он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, — мне было бы легче. А то «герой» — шутка сказать!..

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не

заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей амуниции.

(«За рубежом»).

## «ПРЕЗРЕННЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ... ПОДЛОЕ ЛИКОВАНИЕ...»

«Рядом с величайшей драмой, все содержание которой исчерпывалось словом «смерть», шла позорнейшая комедия пустословия и пустохвальства, которая не только застилала события, но положительно придавала им нестерпимый колорит. Люди, заведомо презренные, лицемеры, глупцы, воры, грабители-пропойцы, проявляли такую нахальную живучесть, и так укрепились в своих позициях, что, казалось, вокруг происходит нечто сказочное. Не скорбь слышалась, а какое-то откровенно-подлое ликование, прикрываемое рубрикой патриотизма».

(«За рубежом»).

## «...ПРОБИЛ... ЧАС»!

«...Никто не замечал праха, который до краев наполнял этого человека. Всё преклонялось перед ним, всё считало его серьёзною силой. Новогодние приемы его представляли собой как бы политическую программу на целый год, — программу, которая принималась безоговорочно к исполнению. Но, наконец, пробил таки час, когда гноище, на котором он возлежал, раскрылось само собой. И что же? С последним громом пушек — все смолкло, точно ничего и не бы-

ло!.. И теперь имя его до того погрузилось в мрак, что не только никто о нем не говорит, но даже и не помнит его существования... а жизнь народная продолжает по прежнему свое течение...

История сумеет разобраться в этом наносном хламе и отыщет, где находится действительный центр тяжести жизни. Если же она и упомянет о хламе, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда!

Скажет она это потому, что душевная боль не давала человечеству ни развиваться, ни совершать плодотворных дел, а следовательно, и в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши, — обведет эти строки черною каймою и более не возвратится к этому предмету».

(«Мелочи жизни»).

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
...чного зл...

Цена 30 коп.